

После Пушкина нет места унынию, нет места неверию в Россию. Пушкин не доказал, а открыл и показал такую красоту русской души, такое величие простой русской жизни, такое богатство духовных сил ее, что в явлении Пушкина находит свое оправдание и высшее примирение вся русская действительность...

Борис Зайцев

ОПРАВДАНИЕ И ПРИМИРЕНИЕ

Александр Сергеевичу Пушкину

О нем, как о воздухе, не думаешь, пока дышишь. И только когда перехватывает дыхание, вскрикиваешь: вот! как же я забыл?

А сейчас как раз перехватывает – от тревожного отчетливо неуверенного покоя, от мертвенной накатанности, от объявленной «стабилизации». Вот и вдыхаешь поглубже.

В последние годы советской власти, когда она уже стала впадать в детство, было модно спрашивать в молодых журналах: какие книги и кого из писателей взял бы читатель на необитаемый остров, с кем можно было бы делить долгие годы одиночества? И поскольку я уже сам летами с советскую власть, то вот и отвечаю, что в это воображаемое несчастье взял бы один поместительный «золотой том» Пушкина, какой выходил однажды в 1993 году.

Он был бы там мне Пятницей, Субботой, Воскресеньем и остальными днями недели. А коли бы остров оказался обитаем, он скоро

стал бы разумным государством с ясной экономикой, культурой, религией и домостроительством. И там жили бы прекрасные люди, где и разбойники были бы справедливы и оскорбленные не мстительны.

Да и не остров это был бы, а страна Пушкиниана, таинственно совпадающая в границах с Россией, как другое название этой России с ее небесами, историей, «какой ее нам Бог дал», с ее законными государями и самозванцами, ее аристократией и крестьянством, ее верой и «уроками афеизма», счастьем ее неоглядной географии и ее живым человечеством. Как в старину говаривали, «то и будет, что нас не будет», а они все будут населять Россию – Пугачев и Сальери, Петруша Гринев и Моцарт, Трокуров и Дубровский наравне с Дельвигом и Кюхлей, село Горюхино с милым Тригорским, царь Салтан с Ариной Родионовной и Савельич с Нащокиным, потому что нет у него порознь литературы и жизни, а все они – он и мы.

Разогни на любой странице – и не будешь знать, как остановиться. Что говорить о «Капитанской дочке», о «Дубровском», о повестях Белкина, где всякое русское сердце как на ладони. А вон и мало читаемого нами «Рославлева» нечаянно откроешь – и улыбнешься «диалектике» русского сознания. Пока Наполеон был далеко, «молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием», а как оказался на пороге, так «гостиные наполнились патриотами: кто высыпал французский табак и стал нюхать русский... кто отказался от лафита и принялся за кислые щи».

Да и что говорить о законченных текстах! На отрывки взгляните. Ну, вот хоть «Гости съезжались на дачу» с ядовитым портретом аристократии, где «все стараются быть ничтожными со вкусом и приличием», и где «пылкая неосторожность юности» сменяется «благопристойностью эгоизма», и где с такой острой нынешней горечью сказано, что «очарование древностью, благодарность к прошедшему и уважение к нравственным достоинствам для нас не существует».

Будто глядит во все стороны сразу, и все видит, и торопится все назвать в этом не названном до него мире. Хоть пока наброском, чтобы потом не забыть. И вот в три строчки ухватит и бросит. И это увидит, и то. И понимает, что набегом родную аристократию не возьмешь, а отдавать жизнь и молодость роману вместо живых «романов» скучно и как-то очень «литературно». Пусть пока набросок. И так они теперь и дразнят. Это «Гости съезжались на дачу». И это «На углу маленькой площади»:

«– Кого ты называешь у нас аристократами?»

– Тех, которым протягивает руку графиня Фуфлыгина.

– А кто такая Фуфлыгина?

– Наглая дура».

Или в отрывке, который уж так и зовется – «Отрывок», герой которого, «будучи беден... уверял, что никогда не женится или возьмет за себя княжну рюриковой крови... коих отцы и братья, как известно, ныне пашут сами и, встречаясь друг с другом на своих бороздах, отряхают сохи и говорят: «Бог помочь, князь Антип Кузьмич, а сколько твое княжое здоровье сегодня напахало? – «Спасибо, князь Ерема Авдеевич».

Так и видишь, как они через столетие оборачиваются к соседней борозде: «Бог помочь, граф Лев Николаевич!»

Как он матушку-аристократию знал и какой иронией мог окатить, а вот яда-то и не позволил. И не затем, что сам к этой аристократии (тяготясь и тяготей) принадлежал, а вот не хотел, видно, отравлять читательское сердце, хотя мы по его эпиграммам знаем, что ядовитые его стрелы были мгновенны и неотразимы. Но проза – другое дело. Он сам говорил, что она требует «мыслей и мыслей», а уж какая мысль в ожесточенном уме!

Да и не бросает он наброски-то. А только ждет, когда сюжет поспеет, и, смотришь, из «Записок молодого человека» выйдет «Станционный смотритель», из «Отрывка» – «Египетские ночи», а из «Русского Пелама» – «Капитанская дочка». Всему свой час. Как там, в «Онегине», когда он вспоминает пору, когда Онегин и Татьяна едва явились воображению: «И даль свободного романа / Я сквозь магический кристалл / Еще не ясно различал».

Вот и тут мы видим в набросках счастливые ростки, молодые побеги мысли, а как «магический кристалл» очистится, так мысль и процветет и все обнимет и благословит.

А сам не напишет, так легко отдаст. Как вон прочтешь в «планах» набросок возможного сюжета: «Криспин приезжает в губернию на ярмонку. Его принимают за *Ambassadeur*. Губернатор честной дурак. Губернаторша с ним кокетничает. Криспин сватается за дочь». Узнали «Ревизора»-то гоголевского? Ничего ему ни для кого не жалко: глядишь, ему в «Современник» и отдадут, а ему то и надо.

Все у него прилюдно, все – общее... И все легко. Верно, не один «книгопродавец», а и читатель был уверен: «Стишки для вас одна забава; / Немножко стоит вам присесть, / Уж разгласить успела слава / Везде приятнейшую весть...» Да он и сам, кажется, торопился подтвердить это перед людьми старой руки, как перед Липранди, что он «любил болтовню и материализм» (какое странное сочетание!). И «когда находила на него эта дрянь», как он называл вдохновение (вот уж подлинно в зеркало взглянул), когда писал в этот час своего героя в «Египетских ночах», то закрывался и писал по целым дням. Но закрывался, и была в этом счастливая стыдливость труда. «И только тогда и знал истинное счастье». Потому что был Божьим собеседником. Ведь сказать «В гармонии соперник мой / Был шум лесов и вихорь буйный, / Иль иволги напев живой, / Иль ночью моря шум глухой, / Иль шепот речки тихоструйной» – это потягаться с Богом. Не «отразить» природу, не списать

образец, а самому стать стихией, ветром и небом. «Ты, Моцарт, – бог!» – скажет он устами Сальери о своем брате. И, может быть, только о нем самом и можно было сказать это с такой же серьезностью, как говорит Сальери. И Бог не разгневался бы, потому что увидел Свой образ в минуту творения. И даже «афеизм» и «Гаврилиада» поэта, кажется, были озорные дети свободы и уравновешивали чрезмерную серьезность жизни.

Как он пишет своего беспечного, полного игры «Нулина» в час, когда его товарищи стоят на Сенатской площади и рискуют жизнью и свободой! Порознь они бы накренили жизнь: он – озорством, они – серьезностью, а вместе – чудо самозаживляющейся жизни, которая ищет социального преображения и не знает, что это преображение одинаково в строгом стоянии друзей и в ликующем смехе «Нулина». Об этом могли догадаться Тютчев и Толстой, но быть этой полнотой мог только он. Они писали, а он – был. Как В. С. Непомнящий страшно и верно назвал его – Сущий. Так только о Боге. Сколько бумаги извел А. Терц в своих «Прогулках с Пушкиным», чтобы сказать это же, назвать ту же двуипостасность Бога и человека в одном сердце, но не набрался смелости. А В. В. Розанов вон как сразу отважно и точно, в одно дыхание (русский же!) после ужасного для церковного слуха утверждения, что Пушкин против монотеизма! Какое чудесно глубокое и какое христианское восклицание: «Он все-божник, то есть идеал его дрожит на каждом листочке Божьего творения». И дальше-то, дальше: «Вся его жизнь была... прогулкою в саду

Божьем, где он указывал человечеству: «А вот еще что можно полюбить», «или – вот это». . . «он повторил дело Божьих рук!»! И там еще – что в других, даже и великих, можно задохнуться от тесноты, а у него все двери открыты и все окна в сад. Рильке однажды скажет великие слова, что все государства граничат друг с другом, а Россия – с Богом. Пушкин тому лучшее подтверждение. Отчего его и не перевести никак на чужие-то языки, – как переведешь небо?

Все, кто пишет о Пушкине (С. Абрамович, М. Гершензон, С. Фомичев, В. Кошелев, В. Непомнящий, А. Битов), непременно пишут «автопортреты», и это естественно и прекрасно, и Пушкин выходит у всех разный, но обязательно чудно живой, потому что рождается с каждым автором заново и проживает полно. Он каждому из нас «по мерке». Мерная икона России. И вон даже и разговоры о канонизации его все громче. А только канонизация и будет его убийством, после которого он уже не воскреснет, потому что жив не Учением, а жизнью.

И нынешний незаметный юбилей тих и незаметен, но и счастливо полон, как всё с Пушкиным, как обычный день с ним в долгой беседе, где вчерашнее сходится с сегод-

няшним в будничном пушкинском воздухе, которым полнится жизнь. История – это каждый день! Сиюминутное в ней таинственно пронизано далью прошедшего и грядущего. И особенно видно, что минута – только часть вечности между безднами вчера и завтра, только наше дыхание, только бие-ние сердца и кровообращение дня. Каждый толчок сердца невозвратен («и каждый час уносит частичку бытия»), но в этой невозвратности и есть жизнь. И каждый день, и каждая дата так же – уйдет, но и останется и пребудет.

Двадцать лет прошло, а кажется, только вчера громадный двухсотый пушкинский юбилей был горяч и беспокоен и надо было разрешить какой-то острый вопрос, заданный поэтом. А сегодня он уже уходит в архивную ссылку, становится предметом интереса историков, кому «последний день Лицея торжествовать придется одному», кто будет встречать 300-летие поэта и оглядываться на нас, как мы в 1999-м оглядывались на 1899 год.

Наши дни так похожи, но каждый все-таки один. И он наш и общий. Как верно сказал когда-то за всех нас, хронографов повседневной жизни, высокий пушкинский ученик Арсений Тарковский:

Вот почему, когда мы умираем,
Оказывается, что ни полслова
Не написали о себе самих,
И то, что прежде нам казалось нами,
Идет по кругу
Спокойно, отчужденно, вне сравнений
И нас уже в себе не заключает.